

*В.В. БАБАШКИН*

## Русская революция в контексте крестьяноведения

В статье дается критика интерпретации событий Русской революции XX в. в рамках модернизационного подхода, приводится теория революции в крестьяноведении – исторической социологии аграрных обществ, предпринимается попытка применения этой теории к анализу революционных событий в России.

**Ключевые слова:** Русская революция 1902–1935 гг., крестьяноведение, психосоциальный подход, цель крестьянства в революции.

The article contains some criticism of the modernization approach to analyzing the events of the Russian revolution, presents the specific revolution theory elaborated within Peasant studies, and attempts to apply that special analytic view to figure out the very consistence of the Russian revolution.

**Keywords:** the Russian revolution, 1902–1935, Peasant studies, psychosocial approach, peasant goal in the Revolution.

### Критика позиции Б. Миронова

Я всегда читал работы Б. Миронова с уважительным интересом. Уважение вызывают энциклопедизм и трудолюбие ученого, а если какие-то его умозаключения и кажутся сомнительными, то все равно интересно, как он подстраивает под них обширнейший фактический и статистический материал. Но когда я обнаружил на страницах журнала текст под названием “Русская революция 1917 года в контексте теорий революции” [Миронов, 2013], к упомянутой эмоции примешалось что-то вроде недоумения. Вспомнилось, что 15 лет назад я публиковал на страницах журнала статью почти с таким же названием: “Крестьянская революция в России и концепции аграрного развития” [Бабашкин, 1998]. Там речь велась как раз об одной из теорий революции, которая, по моему глубокому убеждению, наилучшим образом раскрывает суть и смысл событий Русской революции XX в. Причем это убеждение я воспринял от очень авторитетных историков и социологов, как отечественных, так и зарубежных, чья профессиональная компетентность никогда не ставилась в историографии под сомнение.

Почему один из ведущих наших поборников социологических подходов в историческом исследовании ни словом не упомянул в обширной историографической статье ни эти имена, ни эту теорию? Отмечу, что такая избирательная “забывчивость” характерна не только для творчества Миронова. У одного из наиболее известных и последовательных сторонников этого теоретического подхода В. Кондрашина, принявшего участие в заседании круглого стола “Сталинизм и крестьянство”, были, к сожалению, все основания для печального констатирования: “Почему-то все забыли о результатах

---

*Бабашкин Владимир Валентинович – доктор исторических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.*

грандиозного проекта Данилова–Шанина о крестьянской революции в России” [Марченя, Разин, 2013]. Эмоционально возражая некоторым участникам той дискуссии, он перечислил целый ряд глубоких исследований, не учитывать результаты которых сегодня, рассуждая о Русской революции, просто неправильно. Между тем А. Островский, блестяще критикующий теоретические убеждения Миронова с позиций марксизма (причем не “вульгарного”, а того самого, который во всем мире продолжает пользоваться признанием серьезных исследователей), также ни словом не упоминает о теории крестьянской революции [Островский, 2014]. Почему?

Ответить не так сложно. В марксизм, вульгарный или нет, любые теории крестьянских обществ вообще вписываются плохо – не про них наука писана. На это сам К. Маркс без обиняков указывал в ответе на письмо В. Засулич [Маркс, 1961, с. 250–251; Late... 1983, p. 124]. И в своих размышлениях о таких обществах он, по собственному признанию, и сам переставал быть марксистом – равно как впоследствии и В. Ленин [Бабашкин, 2007, с. 188, 200–201]. Если же говорить об упомянутом тексте Миронова, то в контексте крестьянско-революционной теории само словосочетание “Русская революция 1917 года” выглядит как-то беспомощно. Отречение царя, неудачный путч Л. Корнилова и удачный Ленина – разве это революция? Революция – это взаимодействие тех факторов, которые привели ко всем этим событиям, а также диалектическая взаимосвязь последующих событий. А смысл теорий революции – более или менее логично объяснить эти взаимодействие и взаимосвязь.

В объяснении, которое Миронов в рамках своего “модернизационного” подхода считает наиболее адекватным (если не единственно верным), логика отсутствует начисто. В его последних публикациях положение России накануне Первой мировой войны описывается так, что невольно приходит в голову знаменитая формула А. Бенкендорфа: “Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение” (цит. по [Гаспаров, 2001, с. 102]). Отчего же тогда так мощно рвануло в 1917 г.?

«В чем же причина провала столь успешной и благостной, по Миронову, модернизации? – вопрошает еще один жесткий критик творчества этого ученого В. Булдаков. – Оказывается, во всем виноваты ее “издержки, или побочные продукты”. Но что это за модернизация, которой суждено стать жертвой собственных несовершенств? По Миронову, “общество испытало то, что называется *травмой социальных изменений, или аномией успеха*” [Миронов, 2011, с. 13]. Это напоминает хрестоматийный случай с унтер-офицерской вдовой, которая “сама себя высекла» [Булдаков, 2012, с. 70]. Булдакову категорически не по душе и тот факт, что Миронов жонглирует целым набором теорий революции в стремлении, очевидно, подчеркнуть, как несовершенны все они в сравнении с его собственным модернизационным подходом, «упорно цепляется за обветшалые западные теории, подчас не имеющие точек соприкосновения с действительностью. Он вообще руководствуется количественным принципом, достойным гоголевского персонажа: “в хозяйстве всякая веревочка сгодится» [Булдаков, 2012, с. 69–70]. Лично мне такой трюк напоминает популярный некогда в общественно-политической литературе жанр критики “буржуазных фальсификаций” по той или иной проблеме советской истории. Там критик припрягал очередного “фальсификатора” к определенному направлению теоретизирования (зачастую существовавшему лишь в голове самого критика), а несостоятельность и “фальсификатора”, и самого направления легко доказывалась сравнением нескольких цитат с правильным ответом, то есть с “единственно научным” марксистско-ленинским подходом.

Так, Миронов теоретические убеждения Булдакова относит к “психосоциальным теориям революции” (оговорившись, впрочем, что “классификация подходов и концепций всегда субъективна, так как зависит от критерия, положенного в ее основу, а критерий – от методологических пристрастий автора” [Миронов, 2013, № 2, с. 73]), а затем прибегает к своей излюбленной социальной статистике, которая как бы без лишних комментариев показывает, сколь далеки представители данного направления от

истины. Статистика ему служит тем же, чем советским критикам чуждых теорий служил марксизм-ленинизм – выглядит так же “научно”. Но это как раз тот случай, когда уместно вспомнить остроумное французское выражение, уподобляющее статистику женскому купальнику-бикини: внимание привлекает, а главного не показывает. «Честно говоря, – пишет в этой связи Булдаков, – я никогда не понимал логики Миронова, постоянно ориентирующегося на сомнительные статистические данные, собранные бюрократами для иллюстрации собственных “достижений”» [Булдаков, 2012, с. 70].

Лично я далек от утверждения, что Миронов все время оперирует сомнительной статистикой. Из-за этих подсчетов и данных в основном и интересно читать работы ученого. Я утверждаю другое: статистика сомнительна по определению, и пожалуй, лучшее, что она может творить в умах ее производителей и потребителей – порождать сомнение, желание спорить. Приведу простой пример. “Необходимая и целесообразная столыпинская реформа, – пишет Миронов, – не нашла поддержки у большей части крестьянства и породила новые противоречия в деревне: между приверженцами общины и теми, кто хотели из нее выйти (полюбовно ее покинули лишь 27% крестьян)” [Миронов, 2013, № 3, с. 113]. Между строк читается: вот какое туповатое у нас было крестьянство; такую реформу им проводили, а они всего лишь немногим более четверти своих односельчан отпустили из общины, хотя, наверное, “тех, кто хотели из нее выйти”, было больше.

Категорически не согласен был с этими пресловутыми 27% такой эксперт по проблеме, как А.Анфимов. Со ссылкой на “Статистический ежегодник России” за 1915 г. он писал о 8,4% выделившихся из общины дворов от общего числа крестьянских дворов в 14,6 млн. Но даже и эта цифра нуждается в более тщательном анализе, поскольку включает не только тех, кто выделились по основному замыслу столыпинской реформы, то есть путем единоличного выхода из общины (таких было лишь 30,6% от попавших в статистику), но и получивших землю в собственность через разверстание на хутора и отруба целых селений и выселков, то есть путем политических и статистических манипуляций правительства [Анфимов, 2002, с. 130–131].

А если более тщательно анализировать и тех, что попали в 30,6%, как это делает английская исследовательница Дж. Пэллот, обнаруживается, что манипуляции имели место не только со стороны правительства. Часто крестьяне, формальные собственники земли, фактически продолжали участвовать в традиционных общинных практиках: претендовали на дополнительные полосы при последующих переделах земли в родной общине, из их числа выбирались должностные лица, включая старосту и представителей общества в волостном суде. Много было фиктивных хуторов, проходивших только по отчетности: землеустроительные комиссии или местные отделения Крестьянского банка регистрировали создание хутора под обещание главы крестьянского хозяйства со временем обосноваться на выделенном ему участке земли, но не существовало эффективных средств проверки искренности этих крестьянских обещаний. Крестьяне получали субсидии на переезд, но часто затягивали переговоры с банком и властями о том, как и в какие сроки они должны обустроить хутор. Фактически это был саботаж в духе молчаливого обыденного сопротивления [Пэллот, 2004, с. 178, 184–187]. В крестьяноведении такое поведение крестьян принято называть “оружием слабых” с подачи детально разработавшего эту теорию американского историка-социолога Дж. Скотта [Скотт, 1996].

В концовке статьи о “Русской революции 1917 года” Миронов выносит любопытный вердикт (с его точки зрения, вытекающий из содержания текста): “Ни марксистская, ни мальтузианская (в классической или современной версии и интерпретации), ни структурная, ни психосоциальные концепции революции не подтверждаются эмпирически. Теория модернизации, а также институциональная и политическая концепции объясняют происхождение русских революций 1905 г. и 1917 г. намного убедительнее” [Миронов, 2013, № 3, с. 113].

Позвольте: “...не подтверждаются эмпирически” – это как? Статистически? Но в работе Островского приводится сколько угодно статистики – причем намеренно с

марксистских позиций и именно в пику умозаключениям Миронова [Островский, 2014]. Или эмпирическое подтверждение – это таковое с позиций опыта? Но подтверждает ли опыт последних десятилетий отечественной модернизации теоретическую правоту Миронова и его единомышленников? Меня больше волнует другой вопрос: а вообще-то разные ли это вещи – марксизм и теория модернизации? Уж сколько раз писалось, что нет (см., например, [Шанин, 1998]), – а “воз и ныне там”: продолжают спорить.

Есть сколько угодно доказательств, что марксизм и модернизм – суть одно и то же. Для меня наиболее важен тот факт, что и тот и другой продолжают игнорировать существование теории аграрных обществ, крестьяноведения.

## Теория революции в крестьяноведении

Трудно представить себе что-либо столь же противоречивое, как предмет и метод крестьяноведения. Предмет – крестьянин с его хрестоматийной двойственностью души; крестьянское общество с его головоломной вписанностью семейного хозяйства в общину. Сама община, которая в крестьянском обществе является способом существования огромного большинства населения, не менее сложно и противоречиво вписана в общество в целом – в то, что принято называть страной, нацией.

Прогрессистов, модернистов эти вещи мало заботят, поскольку, по их убеждениям, вся эта архаика не сегодня, так завтра будет сметена “железной поступью прогресса”, а то, что возникнет взамен, будет отрегулировано “невидимой рукой рынка”. Особо не смущает, что это ожидание явно затягивается, что это “не сегодня – завтра” длится уже более сотни лет. А крестьяноведов смущает, что это “не сегодня – завтра” длится и продолжают совершенствовать аналитический метод *двойной рефлексивности*, уходящий корнями в практику включенного исследования деревни. Эта методология доведена до определенной степени совершенства, в частности, теми исследователями современного российского села, что участвуют в научных проектах Т. Шанина. Она предполагает поиск оптимального сочетания “близости” и “отстраненности” исследователя, количественных и качественных результатов изучения (например, размышления над цифрами сухой статистики – не средняя ли это температура по больнице?), особое внимание к личностным мотивациям действий объекта исследования, в идеале – взаимобогащение объекта и субъекта научного поиска [Шанин, 2002].

Один из основоположников современного крестьяноведения американец Р. Редфилд вспоминал, что когда он только начинал свои полевые исследования жизни в мексиканской деревне Чэн Ком, его взгляд был подсознательно подчинен поиску ассоциаций с тем, что ему приходилось читать в академической литературе о жизни земледельцев и казалось безусловно верным, например с описанием М. Вебером протестантской этики жителей Новой Англии. И лишь со временем, выработав у себя умение встать на точку зрения того или иного обитателя этой деревни на происходящие события, “взгляд изнутри”, он понял, насколько целостна изучаемая им социальная система и насколько случайны первоначальные ассоциации. Академический, “научный” подход к анализу событий, если речь идет о событиях в крестьянском обществе, просто обязан сочетаться со “взглядом изнутри” [Современные... 1994, с. 10–13]. Если он не выдерживает такого сочетания, или вообще не предполагает такой задачи, он может, конечно, продолжать существовать в академической литературе, но в случае с Россией обрекает себя на вечное объяснение последствий “научно-обоснованных” реформ тупостью народа или отсутствием у реформаторов 20-ти лет покоя.

Крестьяноведческий подход исходит из знания об объекте, которое эмпирически подтверждалось и подтверждается отчетливо, неоднократно, из разных познавательных перспектив. Это представление о крайней противоречивости бытия в общинной деревне и соответствующих особенностях крестьянского менталитета, когда одни и те же обитатели деревни могут предстать перед внешним наблюдателем воплощением радушия или жестокости, коллективизма или индивидуализма, альтруизма или эгоизма, трудолюбия или праздности, смекалки или тупости... Поэтому Редфилд призывал

исследователей крестьянской проблематики включать бинокулярное зрение, чтобы не лишать себя возможности стереоскопического восприятия отражаемой реальности. «Мне кажется, – писал он, – что, приняв во внимание влияние личного фактора на результаты исследования, мы открываем для себя возможность сочетания двух контрастных точек зрения, интеграции их в единый взгляд на многообразную и неуловимую реальность. Я думаю, мы можем представить процесс постижения целостности социальных структур как диалектику точек зрения, диалог взглядов. “То”, но, с другой стороны, и “это” – так ум движется в направлении истины» [Redfield, 1960, p. 137].

Если исследователь достаточно самокритичен в анализе своих восприятий гуманитарной реальности, он может сознательно побудить себя на такой внутренний диалог, в котором основные аспекты изучаемой проблемы представляли бы с разных позиций. При этом надо руководствоваться следующими правилами: 1) эти позиции должны быть действительно контрастными; 2) контрасты должны быть реальными, а не надуманными; 3) эти контрасты должны поддаваться отдельному восприятию и описанию в своих собственных категориях [Современные... 1994, с. 12].

Возможна ли в рамках столь замысловатого методологического подхода теория русской революции? Не только возможна – она создана. И она, как следует из вышесказанного, не может не составлять некий контраст по отношению к общепринятой теории революции, которую в данном контексте можно обозначить как “марксистско-прогрессистскую”. Последняя трактует революцию либо как прекращение несправедливости и эксплуатации (марксизм), либо как преодоление архаики и сознательный выбор в пользу разума во всех сферах общественной жизни (прогрессизм). Если направить “взгляд изнутри” на то, что многие представители образованного сословия, интеллектуальной элиты общества считают несправедливостью и эксплуатацией, то есть попытаться понять, что общинно-крестьянское большинство населения аграрных обществ об этом думает, то обнаруживается, что в целом крестьяне воспринимали устройство жизни как разумное и справедливое. Почему тогда восстают?

В советской историографии общепринятая трактовка состояла в том, что периодически происходящие в феодальном обществе региональные и локальные восстания крестьян – главное доказательство наличия классовой борьбы угнетенных и эксплуатируемых против эксплуататоров и эксплуататорского строя, и одна их главных форм ее проявления. Считалось почти *a priori*, что крестьянские восстания расшатывают устой феодально-крепостнического устройства общества, тем самым продвигая вперед социально-экономический прогресс. Поэтому массовые открытые крестьянские бунты, восстания в отечественной историографии освещены достаточно широко: по частоте обращения к теме они до недавнего времени занимали третью позицию после тематики рабочего и революционного движения [Сенчакова, 1989, с. 10].

Историческая наука в данном случае предпочитает отгалькиваться от заранее готовой теории революции, краеугольный камень которой – универсальное представление об эксплуатации и классовой борьбе в каждой общественно-экономической формации. Это и объясняет, почему столь велик удельный вес сюжетов о крестьянских войнах и восстаниях в советских исторической литературе и учебниках. Создавалось впечатление, что подобные вещи происходят в отечественной истории достаточно часто, и история эта довольно уверенно шествует к революционной замене устаревшей формации.

Между тем Скотт, обосновывая свой подход к проблеме, подчеркивает: «Писать о восстании значит сосредоточивать внимание на тех чрезвычайных, необычных ситуациях, когда крестьяне предпринимают попытки силой вернуть или переделать свой мир. Пишущие об этом склонны забывать, сколь редки такие моменты... Забывают, что куда чаще крестьяне – беспомощные жертвы насилия, чем инициаторы его. А главное забывают, что и до и после этих “моментов сумасшествия” (и даже во время их!) главную реальность повседневной крестьянской жизни составляют усилия семьи крестьянина по обеспечению себя хлебом насущным» [Scott, 1976, p. 203–204].

Скотт разрабатывает целую теоретическую концепцию, согласно которой крестьяне всегда предпочитают открытому выступлению куда более безопасные и эффективные, отработанные веками скрытые формы повседневногo сопротивления давлению со стороны экономической и политической власти: браконьерство и воровство (вернее то, что считается таковым согласно формально-юридическим установлениям, но не по обычаю) при молчаливом и сочувственном попустительстве односельчан; разнообразные способы уклонения от налогов и прочих повинностей (когда возникает ощущение, что они чрезмерны); дезертирство (когда складывается убеждение, что война ведется вопреки народным интересам); фольклор, в котором действует сметливый представитель деревенского сословия (в пику официальной доктрине, где народ представлен как темный и не знающий своей пользы объект просвещения и иных цивилизаторских мероприятий). В случае же с восстанием, каждый конкретный “момент сумасшествия” должен быть рассмотрен так, чтобы понять, какое конкретное отклонение со стороны властей от признанной крестьянами нормы отношений вызвало столь острую реакцию деревни, порождало стремление крестьян донести до высшей власти информацию о данном отклонении [Scott, 1976].

Как видим, для методологии крестьяноведения характерен совершенно иной подход к крестьянскому бунту по сравнению с модернизационными теориями. Для последних сам факт того, что крестьяне восстают, служит подтверждением осознания или предчувствия даже ими – наиболее консервативными членами большого сообщества – неизбежности глобальных перемен общественно-экономического уклада. Сущность и смысл восстания оказываются как бы заранее predeterminedены в рамках общетеоретического взгляда.

В крестьяноведении, наоборот, более пристальное внимание к реальным причинам каждого отдельного крестьянского выступления позволяет сформулировать общий взгляд на природу восстания. И взгляд этот оказывается весьма отличным от модернизационного: открытое возмущение крестьян – почти всегда реакция на попытки резких изменений в сложившемся жизненном укладе со стороны помещиков и других властей (что и воспринимается участниками восстания как усиление эксплуатации, если использовать для анализа этот привычный термин). Коротко говоря, крестьяне восстают не против помещиков и властей, то есть не против существующего строя, а как раз *за таковой* – против случающегося временами слишком уж вопиющего нарушения помещиками и администрацией канонов *моральной экономики и этики пропитания*. Крестьянские восстания всегда обречены на подавление, и их участники вполне это осознают. Но бунт не бессмыслен: это единственный доступный крестьянам способ сигнализировать на уровень верховной власти, что происходит слишком большое отклонение от тех норм жизни, что освящены обычаем. Эти нормы в крестьяноведении с легкой руки того же Скотта принято называть “моральной экономикой крестьянства” [Scott, 1976].

Однако такой общий взгляд на крестьянское выступление с точки зрения его локального характера и консервативной направленности стопроцентно приемлем лишь для определенного (хотя и весьма длительного) этапа развития аграрных обществ, который известный английский политолог Э. Хобсбаум охарактеризовал следующим образом. Крестьяне в это время составляют большинство населения и искренне полагают свой уклад и образ жизни правильным и праведным, воспринимая “некрестьян” как отклонение от нормы, что составляет основу для их самосознания и социальной солидарности. «Это их осознание “крестьянственности” как особого отношения к природе, к производству и к “некрестьянам”, не будучи основано на прочных социально-экономических отношениях, порождало политические действия, кратковременные и ограниченные по масштабам» [Hobsbawm, 1973, p. 3–4]. В эпоху модернизации характер крестьянского восстания существенно изменяется, все чаще имеет место развитие событий по типу цепной реакции, что делает масштабы выступлений поистине безграничными. Здесь уже требуется особое теоретическое осмысление, новый концептуальный подход.

Такую попытку предпринимает еще один американский основоположник крестьяноведения Э. Вулф в обширном сравнительном исследовании “Крестьянские войны двадцатого столетия”. Ученый подчеркивает очевидное сходство в исторических судьбах таких мощных аграрных обществ, как Индия, Китай, Турция, Россия, Мексика. Бурные события, которые происходили в этих странах в первой половине истекшего века, принято в обществоведении называть революциями. Во всех случаях углубление процессов модернизации сопровождалось крестьянскими выступлениями общенационального масштаба и огромной внутренней солидарности. Везде правящие режимы пытались по горячим следам свалить ответственность за это на “агитаторов со стороны”, что затем вошло в политические и конспирологические теории подобных революций. Крестьяноведческая методология позволяет увидеть то обстоятельство, что агитаторы со стороны, которые впоследствии и сами были не прочь примерить перед зеркалом истории лавры организаторов революционных действий такого масштаба, если и играли какую-то роль в повстанческом движении крестьян, то весьма незначительную. Активные действия крестьян носили самоорганизованный характер (см. [Шанин, 1997, с. 227–279]).

Крестьяне, как и прежде, “поднимались, чтобы все привести в привычную норму; однако те несообразности, против которых они восставали, представляли теперь собой не что иное, как локальные проявления больших социальных сдвигов. Таким образом, восстания естественно перерастают в революции, массовые движения, трансформирующие всю социальную структуру. Полем битвы становится все общество, и когда война заканчивается, общество изменяется – и крестьяне с ним вместе. Поэтому роль крестьянина в этих событиях трагична по сути своей: он стремится исправить по своему разумению тяжкое настоящее, но его усилия лишь приближают ещё более неопределенное будущее” [Wolf, 1971, p. 301]. Однако Вулф видит здесь не только трагизм, но и широкие перспективы, поскольку, хотя крестьяне и не достигают своими выступлениями искомого результата, в конечном итоге уходят в прошлое голод и эпидемии, рушатся прежние авторитарные системы власти, люди получают более широкий доступ к образованию и участию в общественной жизни.

## **Россия в революции: теория и практика**

Островский резонно начинает критику взгляда Миронова на революцию в России с уточнения самого понятия “революция”: “Только в обыденном сознании революция – это баррикады и стрельба. В марксистской литературе различаются два вида революций (факт, который или остался вне поля зрения Миронова, или же был им проигнорирован): в узком смысле – это политический переворот, смена режима, в широком смысле – социальный переворот, смена общественной системы” [Островский, 2014, с. 125]. Справедливости ради нужно признать, что Миронов все же упоминает о широком смысле этого понятия, однако делает из этого несколько странное умозаключение: “В таком случае можно говорить о трех революциях в России XX в.: Первая русская революция 1905–1907 гг.; Вторая русская революция 1914–1920 гг.; Третья русская революция 1985–1993 гг. (от начала перестройки до претворения в жизнь реформ Е. Гайдара включительно)” [Миронов, 2013, № 2, с. 74].

В качестве шутки сойдет. А если серьезно, не пристало историку именовать время от провозглашения “перестройки” до октябрьского путча 1993 г. революцией – ни в узком, ни, тем более, в широком смысле. Дистанция маловата, историческое зрение не фокусируется. Анализировать, конечно, все это необходимо, но только не в таких категориях, как “революция”. Если уж угодно исчислять русские революции XX в. по-шуточно, то третья революция действительно была. Ее хронологию можно ограничить рамками 1929–1935 гг., то есть от начала политики коллективизации до юридического оформления “Примерным уставом сельскохозяйственной артели” того компромисса, на который пришлось пойти партийно-государственному руководству страны, столк-

нувшись с огромными трудностями в осуществлении этой политики, включая самые невероятные формы крестьянского сопротивления и приспособления.

А вообще, в контексте крестьянноведения в России в XX в. произошла одна революция. Она разворачивалась в толще огромного большинства российского/советского населения и по сути представляла собой реакцию общинного крестьянства на попытки правительства реализовать тот или иной вариант решения аграрного вопроса в стране. Ее глубинные предпосылки начали складываться как раз в результате одной из самых знаменитых таких попыток – земельной реформы 1861 г.

“Самые благодетельные структурные реформы имели противоречивые последствия и не встречали всеобщего одобрения, – пишет Миронов. – Отмена крепостного права вызвала недовольство как помещиков, так и крестьян, хотя проведена была компетентно и предельно аккуратно” [Миронов, 2013, № 3, с. 113]. Иными словами, реформа была очень хороша, да вот реакция населения на нее была какой-то неправильной, причем со стороны крестьян (например, деревень Бездна Казанской губернии, Кандеевка Самарской губернии и др.) – совсем уж неадекватной.

Такой взгляд, весьма популярный в современной историографии, доводится до известного совершенства в работах А. Медушевского (см. [Марченя, Разин, 2012, с. 386]), которому в очной полемике довольно жестко возразил Д. Люкшин: “Что касается деформации моральной экономики сверху, то нужно учитывать, что причиной реформ 1861 г. было отнюдь не альтруистическое желание государя дать свободу своим подданным, а желание получить деньги на модернизацию вооруженных сил. Основная идея Великих реформ состояла в том, чтобы порыться в крестьянских карманах и найти там денежки на государственные нужды. Наше государство, желая проводить какие-то реформы, всегда исходит из реализации своих конкретных интересов. В этом смысле столыпинская реформа – попытка второй раз ограбить уже ограбленное крестьянство и уверить его в том, что это снова делается для его же блага. Приблизительно так крестьянство в основной своей массе эту реформу и понимало” (см. [Марченя, Разин, 2012, с. 392–393]).

С еще более жесткой критикой прекраснодушных воззрений на пути разрешения аграрного вопроса во второй половине XIX в. выступил в той же полемике В. Зверев, приведя ряд аргументов и статистических данных в пользу того, что начавшаяся в 1902 г. крестьянская революция стала закономерным следствием означенных путей: «Но в 1902 г. рвануло на Харьковщине, на Полтавщине, а потом перекинулось в другие районы страны. Почему? Как мне кажется, достаточно обратиться к двухтомной “Социальной истории России” Миронова, в которой он блестяще показал, что по своему социопсихологическому типу русский мужик был человеком смирным. По количеству преступлений на 1000 лиц разных сословий в конце XIX–начале XX в. он находился на предпоследнем месте (на последнем были священнослужители). Но если русского мужика, который по своему характеру был эпилептоидом (не знавшим “золотой середины” в принятии решений), довести до точки кипения, то это неминуемо приводит к гигантскому социальному взрыву. Этот взрыв и начался в 1902 г. Он стал реальностью еще и потому, что от тех 3,8 дес., которые русский мужик получил по реформе 1861 г., осталось 2,5 дес. Весь вопрос, как необходимо было действовать правительству и как решать аграрный вопрос» (см. [Марченя, Разин, 2012, с. 406]).

Итак, революция началась в 1902 г., и писать о ней можно в категориях *разных аналитических традиций*. Но раз уж к слову пришлось психосоциальные характеристики главных ее участников, есть смысл сказать несколько слов об этой стороне Русской революции, хоть кто-то может и отказывать такому подходу в эмпирическом подтверждении. Крестьянский характер революции у современников ее не вызывал сомнения [Данилов, 1996, с. 97–98]. Н. Бердяев в статье “Из психологии русской интеллигенции” за десять лет до октября 1917 г. предсказал победу в революции большевикам, обнаружив в характере Ленина “типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной ос-



нове... Он [Ленин. – В.Б.] соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике” [Бердяев, 1990, с. 93–95].

Главным средством борьбы крестьян за свои идеи и цели к 1905 г. становится самочинный захват по решениям общинных сходов юридически не принадлежавших им земель. Это поветрие, начавшись в двух украинских губерниях, получает широчайшее распространение на всей территории громадной империи, несмотря на жестокие репрессии со стороны правительства, и предельный максимализм крестьянской революционной идеи как раз в том и проявился, что от этой практики главные участники революции так и не отошли, пока не получили Земельный кодекс РСФСР 1922 г.

О гибкости и оппортунизме крестьянства может многое поведать история участия крестьянских делегатов в двух съездах Всероссийского Крестьянского союза (ВКС) в июле–августе и в ноябре 1905 г. Эти съезды ужаснули царскую администрацию, показав, что крестьяне – не аморфная безграмотная масса, через общину они хорошо организованы и предельно четко сознают свои требования, не имеющие ничего общего с реформаторскими намерениями правительства. На делегатское совещание ВКС в ноябре собрались 187 участников, широко представлявших географию России, две трети которых были избраны волостными или сельскими сходами, то есть качество представительства крестьянского интереса было на высоте [Курёнышев, 2004, с. 32].

Революционная идея, которую отразили выступления делегатов, была действительно максимальна и едина (тоталитарна): вся земля должна принадлежать крестьянам на началах уравнительного общинного владения; чиновники всех уровней должны быть выборными на основе всеобщего и равного избирательного права (земские органы уже не отвечали этому требованию, поскольку дворянское сословие, имевшее в них преимущество, к тому времени полностью утратило в глазах крестьян моральное право на крупную земельную собственность, а стало быть, и на привилегии); органы местной власти должны на основе центрального финансирования и самофинансирования располагать широкими полномочиями в вопросах землевладения, образования, здравоохранения [Шанин, 1997, с. 200–226].

Деятельность ВКС скоро была загнана в глубокое подполье, а затем и вовсе прекратилась. Но уже в 1906 г. крестьянский оппортунизм воплотился в практике наказов депутатам Трудовой фракции в I и II Думах. Несмотря на официальное запрещение “предоставлять словесные и письменные просьбы” в Думу, мирские приговоры – письменные решения сходов, носившие публично-правовой характер, – появились в массовом масштабе и отражали, естественно, все ту же идею. Причем это было не просто информирование властей о нуждах крестьян. Они печатались в газетах, и опубликование первого такого постановления, по свидетельству В. Короленко, “произвело на многих эффект какой-то бомбы” [Сенчакова, 1996, с. 59]. На их основе трудовиками 23 мая 1906 г. был внесен в Думу знаменитый проект “104-х” – “Проект основных положений земельного закона”.

Нужно отдать должное П. Столыпину: поняв, что главное содержание революции – крестьянское движение, он отменил выкупной платеж, организовал льготное кредитование покупки земли через Крестьянский банк, усилил репрессии и тем самым на время снизил накал страстей. Но лишь на время. Безудержное восхваление в современной литературе столыпинского аграрного законодательства противоречит крестьяноведческому анализу. Любое форсирование рыночных нововведений в области поземельных отношений только усиливает сопротивляемость общины, в которой крестьяне резонно чувствуют необходимое условие торжества своей максималистской революционной идеи.

В 1917 г. крестьянская революционная идея воплотилась в 242 наказах с мест I Всероссийскому съезду крестьянских депутатов, требования которых оказались сводимыми к довольно компактному Общекрестьянскому наказу о земле. Эти требования самочинно реализовывались крестьянскими общинами на местах повсюду. Дело было

только за тем, чтобы узаконить эту деятельность крестьян – дать от имени верховной власти страны нечто вроде ленинского Декрета о земле...

Однако внутренняя логика русской революции не только привела к власти Ленина и его команду – она же заставила эту власть принять в декабре 1922 г. Земельный кодекс РСФСР, законодательно воплотивший крестьянскую революционную идею. А дальнейшее развитие событий в этой логике привело к неизбежному демонтажу общины, причем не постепенному, как это виделось П. Столыпину или А. Чаянову, а по-нашему, одним махом. Ценой такого слома стало распространение суровых коммунальных порядков тоталитарной общины на все общество в целом.

\* \* \*

Шанин в своей монографии о Русской революции приводит любопытную классификацию историографических традиций при изучении событий и процессов той революции. Сущность основных теоретических подходов может быть выражена словами: прогресс, заговор, непознаваемость и обратная связь реалий и познания. Быстрый переход многих российских историков из “ярких марксо-прогрессистов в не менее завзятые рыночно-прогрессисты сегодняшнего дня” Шанин склонен без всякого скепсиса или сарказма объяснять не столько оппортунизмом, сколько общностью методологии. Данный тип мышления схож с тем, как мыслят сильные мира сего. Бегло обрисовав особенности исторических работ, которые могут быть отнесены ко второй и третьей категориям, свое исследование патриарх крестьяноведения сознательно и однозначно относит к четвертой: «Это “теории среднего уровня”, которые не признают как всеопределяющих ни однолинейности теории прогресса, ни господства случая в заговорщицкой историографии, ни абсолютной непознаваемости истории... Это историческая социология, особенности и внимание которой сфокусированы на перекличке, противоречивости, взаимосвязи и взаимопереходе “объективного” и “субъективного” в их обратной связи и особенно ее выражении “уроков истории” в массовом, как и в элитном познании» [Шанин, 1997, с. 16–18].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Анфимов А.М.* П.А. Столыпин и российское крестьянство М., 2002.
- Бабашкин В.В.* Крестьянская революция в России и концепция аграрного развития // *Общественные науки и современность.* 1998. № 2.
- Бабашкин В.В.* Россия в 1902–1935 гг. как аграрное общество: закономерности и особенности отечественной модернизации. М., 2007.
- Бердяев Н.И.* Судьба России. М., 1990.
- Булдаков В.П.* Революция и мифотворчество: коллизии современного исторического воображения // *Россия и революция: прошлое и настоящее системных кризисов русской истории.* М., 2012.
- Гаспаров М.Л.* Прошлое для будущего // *Гаспаров М.Л.* Записи и выписки. М., 2001.
- Данилов В.П.* Русская революция в судьбе А.В. Чаянова // *Крестьяноведение. Теория. История. Современность.* Ежегодник. 1996. М., 1996.
- Курёнышев А.А.* Всероссийский Крестьянский союз. Мифы и реальность. М., 2004.
- Маркс К.* Письмо В.И. Засулич // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 19. М., 1961.
- Марченя П.П., Разин С.Ю.* Сталинизм и крестьянство: по итогам первого Международного круглого стола (третьего заседания теоретического семинара “Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории”) // *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки.* 2013. М., 2013.
- Марченя П.П., Разин С.Ю.* Теоретический семинар “Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории”. Материалы первого заседания // *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки.* 2012. М., 2012.
- Миронов Б.Н.* Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // *Общественные науки и современность.* 2013. № 2, 3.
- Миронов Б.Н.* Уроки революции 1917 года, или Кому на Руси жить плохо // *Родина.* 2011. № 12.

*Островский А.В.* Существовал ли системный кризис в России начала XX в.? Критика концепции Б. Миронова // *Общественные науки и современность*. 2014. № 2.

*Пэллот Дж.* Разрушила ли общину столыпинская реформа // *Отечественные записки*. 2004. № 1.

*Сенчакова Л.Т.* Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. М., 1989.

*Сенчакова Л.Т.* Крестьянские наказания и приговоры 1905–1907 годов // *Судьбы российского крестьянства*. М., 1996.

*Скотт Дж.* Оружие слабых: обыденные формы сопротивления // *Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник*. 1996. М., 1996.

Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // *Отечественная история*. 1992. № 5.

Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // *Отечественная история*. 1994. № 6.

*Шанин Т.* Идея прогресса // *Вопросы философии*. 1998. № 8.

*Шанин Т.* Методология двойной рефлексивности и исследования современной российской деревни // *Рефлексивное крестьяноведение*. М., 2002.

*Шанин Т.* Революция как момент истины. Россия 1905–1907–1917–1922 гг. М., 1997.

*Hobsbawm E.J.* Peasants and Politics // *The Journal of Peasant Studies*. October 1973. Vol. 1. № 1.

*Redfield R.* The Little Community. Peasant Society and Culture. Chicago-London, 1960.

*Scott J.C.* Moral Economy of the Peasant. New Haven–London, 1976.

Late Marx and the Russian Road. New York, 1883.

*Wolf E.R.* Peasant Wars of the Twentieth Century. London, 1971.

© В. Бабашкин, 2014